

Лев Абрамович Кассиль

Вслух про себя

ПОПЫТКА АВТОБИОГРАФИИ

К существованию я приступил в 1905 году. Произошло это в слободе Покровской, ныне городе Энгельсё, что против Саратова на Волге, 10 июля по новому стилю. Время было жаркое, да и год, как известно, шёл горячий — год первой русской революции, год, называемый «генеральной репетицией».

В тот день на квартире моего будущего отца, общественного врача, собрались на нелегальную сходку представители местных революционно настроенных кругов. Из Саратова приехал агитатор — студент-агроном. А чтобы полицию не тревожило такое необычное скопление на частной квартире, околоточному сообщили, что у нас отмечается годовщина Полтавского боя. Дело в том, что по старому численнику в этот день, 27 июня, полагалось благодарственное молебствие в память победы Петра Первого над шведами под Полтавой. Поэтому, когда к открытым из-за жары окнам гостиной подплывала снаружи распаренная физиономия городского, мама спешила сесть за рояль и наигрывала что-то чрезвычайно воинственное, а студент-агроном мелодекламировал в окно: «Выходит Пётр. Его глаза сияют. Лик его ужасен...»

Насторожённый городской за окном приостанавливался.

«Движенья быстры. Он прекрасен!» — спешил продолжить студент, и успокоенный городской проходил дальше.

Но к вечеру в гостиной начались распри. Эсдеки¹ поссорились с эсерами. Шум поднялся уже совершенно не конспиративный. Напрасно папа, пытаясь заменить студента, по уши погрязшего в споре, читал в окно: «Скажика, дядя, ведь не даром Москва, спалённая пожаром...» В смятении он сбился с Полтавской баталии на Бородинское сражение. Мама очень разволновалась. Гости, заметив это, стали поспешно покидать квартиру.

И я родился...

Так передаёт семейная легенда это для меня немаловажное событие.

Однако впоследствии, когда известное американское издательство «Вайкинг Пресс», выпуская в Нью-Йорке мою книгу, снабдило её краткой биографической справкой об авторе, обстоятельства моего появления на свет были там изложены так:

«Лео Кассиль родился с шумом революции в ушах... В час его рождения отец будущего писателя, народный врач небольшой деревни на Волге, пытался успокоить толпы восставших, читая из окон своей библиотеки классические стихи...»

Но вернёмся к истинному положению.

У Маяковского есть такие известные строки: «Я родился, рос, кормили соской». Не пытаясь проводить какие-либо нескромные параллели, скажу, однако, что строки эти вполне применимы и ко мне. Я тоже рос, и меня также кормили соской. Правда, сперва была мама, потом кормилица, заменявшая маму, а затем соска, изображавшая кормилицу. Должен сконфуженно признаться, что к этому резиновому источнику иллюзий я очень пристрастился и лет до четырёх никак не мог отпасть от неё, беря тайком, без спросу, бутылочку с соской у появившегося к тому времени младшего братишки.

Затем соску заменил палец. Так была пройдена вся многоступенчатая система сосания. Но тут отец как-то растолковал мне, что сосать негигиенично, из пальца ничего путного не высосешь. Верность этому гигиеническому принципу я стремился сохранить всю жизнь. Это постепенно рождало неприязнь ко всему растяжимо-утешительному, суррогатному,

¹ Эсдеки и эсеры — так называли членов Российской социал-демократической рабочей партии — «социал-демократов» и членов так называемой партии «социалистов-революционеров».

пустышечному и слюнявому, с чем иной раз приходилось встречаться в жизни и в искусстве.

Впоследствии это помогло определить те симпатии, которые привели меня к Маяковскому.

Учился я сперва в старой царской гимназии. Окончить её не успел. Но прикончить помог. И вместе с моими товарищами, вчерашними гимназистами, стал учиться в советской Единой трудовой школе.

Обуреваемый всех нас захватившей жаждой общественно-полезной деятельности, я стал работать в Покровской детской библиотеке-читальне, где ребята местных железнодорожников, рабочих костемольного завода и лесопилок, пристанских лодочников и грузчиков смогли впервые дорваться до книги. Мы напридумали всевозможные кружки — драматический, литературный, стали издавать рукописный журнал. Я был его редактором, художником, и, конечно, мне захотелось выступить и в качестве автора. Будучи не в силах противиться этому честолюбивому стремлению, я поместил на страницах нашего журнала за своей подписью стихи... теперь могу признаться, целиком списанные с настенного календаря, бесплатного приложения к журналу «Пробуждение».

Но о литературной работе в будущем я тогда и не помышлял. Мне нравились совсем иные занятия, меня влекли другие дела и профессии. Сначала я мечтал, как и многие мои пешие сверстники, сделаться извозчиком, так как автомобили и самолёты в то время обретались ещё за пределами мечты. Потом я помышлял стать кораблестроителем. Я мастерил модели волжских пароходов. Никаких пособий или хотя бы подходящих строительных материалов у меня в то время не было. В ход шли старые картонки из-под маминых шляп, спицы от зонтов, дощечки от сигарных ящиков, лучинки. Мы с братишкой ходили обляпанные клейстером, прирастая штанами к стульям или превращаясь в сиамских близнецов... Но это не остужало моего конструкторского энтузиазма. И об одном из моих пароходов, типа «Самолёт», названном мною «Добрыня Никитич», написали даже в местной газете. После этого я перестал завидовать своему уличному приятелю, который постоянно хвастался у нас во дворе, что о нём уже «пропечатали» в газете. О нём действительно было однажды написано в нашей газете следующее: «Неизвестным вором у купца Ерохина похищены самовар и фуганок». Приятель мой вырезал это место из газеты, показывал всем нам и, подмигивая, сообщал доверительно: «Это про меня...»

Потом я решил стать натуралистом. Стал собирать гербарий. Пока дело касалось лютиков и ромашек, всё шло благополучно. Но я попробовал засушить в гербарии небольшую дыню, для чего положил её под папин матрац. Последствия были одинаково неприятны, как для дыни и матраца, так и для меня... Тогда я стал собирать коллекции жуков и бабочек. Изловив солидное количество бронзовок и жужелиц, я усыпил их эфиром и насадил на булавки. Но эфир, вероятно, был слабым или выдохся. И ночью вся коллекция у меня сбежала... Ещё день-другой потом окружающие, ложась спать, вскрикивали испуганно и вытаскивали из-под одеяла нечто жёсткокрылое или перепончатокрылое. И увлечение моё угасло. Рос я медленно. В классе был чуть ли не самым маленьким. Ставили меня в последнюю пару, зато сажали на первую парту. Революция грянула тогда, когда зарубка на дверях столовой, где отмечали мой рост, дошла еле-еле до ста тридцати трёх сантиметров от полу. Остальные полметра моей длины я нарастил уже в новую эпоху. Думаю, что как раз эти полметра и были для меня во всех отношениях решающими.

Впрочем, если уточнить этапы роста, надо сказать о следующем происшествии. Незадолго до окончания школы второй ступени я угодил в страшную бурю на Волге. Неистойвой силы ураган, вызванный внезапно обрушившимся на наш город циклоном, валил заборы, срывал крыши, выбрасывал баржи на берег, опрокидывал пустые товарные вагоны с железнодорожного полотна. На разбушевавшейся Волге перевернулась лодка-дощаник, на которой перевозили коз. Лодочники выбрались на плот, а козы начали захлёбываться. Мы с приятелем попробовали на моторной лодке спасти их. Коз мы не спасли, а меня с моим дружкой спасали уже работники пристани. Промокли мы до костей, но тут же были высушены ветром. В результате я поймал жестокую, жёлтую, тропическую малярию,

эпидемию которой занесли войска, вернувшиеся тогда из Средней Азии после подавления басмачей.

Девять горячечных недель я плавал где-то между жизнью и смертью. Я был исколот шприцами, как святой Себастьян — стрелами. И когда наконец я смог опустить на пол с постели свои чудовищно отощавшие, голенастые, как у саранчука, ноги, я был потрясён: конечности мои ушли от меня куда-то далеко вниз, а потолок стал непривычно близок к моей макушке!

Меня всегда чрезвычайно занимал этот феномен — стремительный рост ребят за время болезни... Впоследствии я даже попытался разработать на сей счёт некую гипотезу, вложив её в уста одного из героев повести «Дорогие мои мальчишки», историка и философа Валерки Черепашкина:

«По-моему, это потому так бывает, что, когда человек ходит, он может расти только в одну сторону — вверх, снизу ему пол мешает, а когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны — и макушкой и пятками».

Не берусь здесь доказать правоту этой идеи, но, во всяком случае, когда я первый раз после болезни, страшно вытянувшийся и тонкий, как макаронина, выполз на улицу, те же самые приятели мои, которые обычно дразнили меня «карапузом» или «коротышкой», стали сбегаться ко мне, скрывая за насмешкой удивление и крича: «Дяденька! Достань воробышка!» А более остроумные подходили и, глядя на меня снизу вверх, осведомлялись: «Ну, как там, наверху, не холодно?»

С тех пор я уже, мне помнится, не рос, но и не укорачивался, как меня ни изводили дразнилками.

Однако, кроме постоянно преследовавших меня с этого времени насмешек над моей длиной и худобой, жизнь отягчали ещё следующие обстоятельства. Я принадлежал к числу тех несчастных мальчиков, которых, попеременно сбивая с толку, окружающие называют «разносторонне одарёнными». Раздираемый обнаруживающимися во мне, по мнению знакомых, способностями, я долго не знал, чем же мне следует заняться всерьёз. Художники находили у меня определённые склонности по их части, и я послушно учился рисованию и малевал, а когда был в последнем классе школы, то даже занимался параллельно в Саратовском художественно-практическом институте. Музыканты же утверждали, что у меня отличный слух и мягкое «туше», и я много лет терзал рояль и корябал слух окружающим, если верить, что таковой у них был. А тут ещё приехавший из голодного Петрограда учитель словесности А. Д. Суздальев, образованный и опытный педагог-энтузиаст, прочтя написанные мною по его заданию домашние сочинения, заявил напрямик моим родителям, что, чему бы меня ни учили, всё равно я, увы, в будущем стану литератором... Суздальев приучил меня читать серьёзные книги о книгах. Я с ним читал Веселовского и Котляревского, пристрастился к Белинскому, Добролюбову, Писареву. Мне было трудно поверить Суздальеву, что моё призвание — литература, но слова его я запомнил, а серьёзного чтения уже оставить не мог. Впрочем, не стоит сваливать всю вину за то, что я впоследствии сделался литератором, на одного Суздалева... Боюсь, что это случилось бы рано или поздно и без предсказаний моего доброго, просвещённого и дальновидного учителя. А вот за то, что он, как человек учёный и серьёзный, привил мне неприязнь ко всякого рода дилетантству, — за это спасибо ему!

В 1923 году, окончив школу, я за хорошую общественную работу в библиотеке-читальне получил от обкома партии командировку в высшее учебное заведение по существовавшей тогда развёрстке. Я ехал в Москву, чувствуя, что уже далеко за плечами осталось детство, кончилось отрочество, начинается юность. Прощальные дразнилки провожавших меня друзей уже не задевали моего самолюбия.

Но не успел я сойти с поезда на московскую землю и выйти на площадь Павелецкого вокзала, как какой-то московский школьник, отбежав на всякий случай подальше, крикнул мне: «Длинный! Где проезд Неглинный?..» Это было первое, что я услышал в столице. Я утешил себя тем, что услышанная мною дразнилка — вопрос о какой-то московской улице

— должна быть воспринята не иначе, как некое посвящение меня в москвичи.

Сдав вступительные экзамены, я начал учиться на математическом отделении физико-математического факультета Московского государственного университета, избрав по специальности аэродинамический цикл. Скажу сразу, что, несмотря на это мудрое обозначение, настоящий математик из меня не вышел...

Уже к третьему курсу меня неотвратимо потянуло писать. Желанию этому противостоять я не мог.

Писать я учился в письмах домой. Я описывал в них Москву, которую в свободные от занятий часы исходил пешком вдоль и поперёк, от центра до пригородов. Я описывал новостройки и шествия, театры и стадионы, магазины и Зоопарк, выставки и музеи. Некоторые письма доходили до 28 страниц.

Потом выяснилось, что младший мой братишка Ося² и его приятели берут у матери эти письма, перепечатают их на машинке и помещают отрывки в местной газете, под заголовком: «Письма из Москвы». За это им в редакции что-то платят, они не отказываются, берут гонорар, ходят в кино и едят пирожные за моё здоровье. Тут я стал подумывать, что и сам бы мог позаботиться о своём здоровье, не препоручая это моим волжским друзьям.

...Но настоящее решение пришло иначе.

Я навсегда запомнил этот неистово морозный день с низко нависшим тяжёлым небом, к которому поднимались дымные столбы от костров, зажжённых на московских перекрестках. Я был в траурной очереди у Колонного зала и дважды прошёл мимо гроба Ильича. На всю жизнь запомнил я этот скорбный день, заиндевелившие лица тысяч людей, дымное дыхание молчаливой толпы и потом надрывный плач заводских гудков над городом. Я так замёрз, что, когда стоял у Колонного в третий раз, упал, и красноармейцы отогрели меня у костра. Но когда я пришёл домой и оочевевшие мои пальцы настолько оттаяли, что могли держать ручку, я сел писать. Я писал всю ночь. Я писал для самого себя. Мне надо было найти слова, чтобы выразить всё то, что увидел я в этот день, заглянув в бездонную пропасть народного горя...

Может быть, в эту ночь я впервые по-настоящему захотел стать писателем.

Примерно через год я написал свой первый рассказ. То была пора бурно распространявшихся радиоувлечений. Мы мастерили самодельные приёмники и с сердцем, замирающим от восторга перед могуществом техники, слушали в эбонитовых наушниках размеренный диктант ТАСС: «Точчка... По бук-вам: Пётр, Анна, Роман. Иван, Жанна... Па-риж!..» И это казалось нам чудом. Рассказ я тоже посвятил радио. При этом я совершил ту сакраментальную ошибку, без которой не обходится обычно ни один начинающий. «Что же я буду писать про то, о чём все знают! — размышляет начинающий. — Нет! Я напишу про то, чего никто не знает и я в том числе... Вот это — другое дело!» И мой рассказ был посвящён американской жизни. Жил я в то время на Таганской площади, что, как известно, довольно далеко от Бродвея, английским языком тоже ещё не занимался. Но всё это меня нимало не смущало. Рассказ свой я назвал «Приёмник мистера Кисмиквика». Понравившуюся мне, по созвучию с бессмертным Пиквиком, фамилию моего героя я случайно подслушал у соседки по квартире, которая любила читать вслух то, что ей было задано учительницей английского языка.

Рассказ мой был напечатан 28 июня 1925 года в газете «Новости радио». Торжество моё было несколько омрачено тем, что уже 29-го числа выяснилось: Кисмиквик — это вовсе не фамилия, а, если перевести с английского, значит: поцелуй меня скорее... Вот тебе и Пиквик!..

А дальше дело совсем не пошло. Я написал довольно быстро пять-шесть рассказов и разослал их в пять-шесть редакций, подсчитав, что собрание моих печатных сочинений

² Иосиф Абрамович Кассиль родился в 1908 году, окончил Саратовский университет, работал в Саратовской совпартшколе и в редакции саратовской газеты «Коммунист». В 1937 году незаконно репрессирован; посмертно реабилитирован.

вскоре, таким образом, увеличится объёмом в пять-шесть раз... Но из одних редакций мне мои писания были возвращены с непонятной, но роковой пометкой: Н. П. (что, как оказалось, значило «не подходит»... «не подойдет»), из других ответы вообще не пришли. Я ходил по редакциям и робко приговаривал, что у нас трудно пробиваться молодому дарованию. Редакторы были непоколебимы. И, глядя на меня в упор, заявляли при этом, что дарования они не видят...

Но однажды, после очередного неудачного посещения редакции, я как-то раскрыл томик Чехова, давно уже как будто мною прочитанный... И внезапно такой жгучий стыд тысячами иголок пронзил мне изнутри загоревшиеся щеки!.. Бессовестный! На свете написано такое, а я ещё норовил печататься...

Я решительно оставил эти теперь показавшиеся мне наглыми попытки. Я сел читать. Это было нелёгкое для меня время. Чтобы не обременять родителей и самому зарабатывать себе на жизнь, я поступил подручным в студенческую артель электромонтёров, работал также художником-плакатистом, рисовал объявления для магазинов: «Получена свежая икра», «Прибыли раки»... В студенческом клубе я был старостой и редактором университетской «живой» газеты «Синяя блуза» и сам выступал как исполнитель разных сатирических ролей, главным образом — английского министра Чемберлена, которому от нас крепко доставалось... А все свободное время читал, сидя по ночам над книгами Толстого, Пушкина, Чехова, Лескова, Флобера, которые теперь совершенно заново раскрывались передо мной во всём их пленительном и непостижимом могуществе. Я читал и много писал для себя, «в стол».

И это, по-видимому, не прошло даром. Очерк, написанный «на пробу» в 1927 году по предложению одного из представителей периферийной газеты, не только был признан им подходящим, но даже вызвал у него сомнение — сам ли я его написал? И меня тут же пригласили стать московским корреспондентом газет «Правда Востока» (Ташкент) и «Советская Сибирь» (Новосибирск).

В то же время я задумал написать свою первую книгу о том, как рухнула старая школа, как мы сами выучили всё, что нам не хотели объяснить в классе. Во мне ещё была свежа обида за детство, втиснутое в графы гимназического штрафного журнала, «кондуита», на зловещие страницы которого заносились все наши провинности. Так я и решил назвать свою первую книгу — «Кондуит».

С первыми её страницами я, волнуясь, пришёл в маленький Гендриков переулок за Таганкой, туда, куда давно меня влекло восторженное преклонение перед громоподобным талантом жившего там человека. Я взбежал по лестнице, а сердце у меня от волнения скатилось вниз по ступенькам. Я позвонил у двери, на которой была прибита медная дощечка с именем Маяковского. Я позвонил, и мне открыли.

Через эту дверь я и вошёл в литературу.

Владимир Владимирович Маяковский с этого дня стал моим учителем, а вскоре я имел уже основание считать его своим старшим другом. Я вошёл в небольшую группу писателей и поэтов, которую возглавлял Маяковский. В журнале Маяковского «Новый Леф» были напечатаны мои заметки, а затем первые отрывки из «Кондуита». Меня тут же выбрали за них в журнале «На литературном посту», ехидно высмеяли в «Крокодиле»...

— Что, бьют? — спрашивал меня, сочувственно и хмуро усмехаясь, Маяковский. — Пока не поздно, одумайтесь. Будете со мной, бить будут обязательно. Может быть, приискать вам место поуютнее?..

Но мог ли я допустить хотя бы на мгновение постыдную мысль о трусливом бегстве от огромного счастья — быть с Маяковским...

Впрочем, откликнулись не только ругатели. Детский писатель-коммунист, человек замечательной души, редкой для столь молодого человека культуры и высокой отваги, Б. А. Ивантер, тогдашний заведующий редакцией журнала «Пионер», а впоследствии его редактор, прочтя отрывки из «Кондуита» в журнале Маяковского, сразу же прислал мне через писателя-лефовца С. М. Третьякова дружеское письмо, в котором просил зайти в

редакцию журнала и предлагал сотрудничать в «Пионере».

— Идите! — убеждённо сказал мне Маяковский. — Там очень хорошие люди работают и интересное дело делают. Обязательно идите туда.

И я пошёл в «Пионер».

В то время там уже работали М. Пришвин, А. Гайдар, С. Григорьев, А. Кожевников и такие замечательные художники, как покойные Н. Купреянов, В. Фаворский, А. Лаптев и ныне здравствующие А. Коневский, Кукрыниксы. Я в то время был уже сотрудником «Известий», и, признаться, мне в голову даже не приходило писать для детей. Но меня до того весело, оглушительно и приветливо встретили в «Пионере», а сам Ивантер, усадив меня прямо на какие-то акварели, сложенные на стуле, и крича: «Чудак! Вы будете чудно писать для детей», — сумел так расписать передо мной перспективы и возможности работы в их журнале, что я решил: дай-ка попробую!.. А попробовав и прочтя первые же письма маленьких читателей, откликнувшихся на мои фельетоны, понял, что лучше и интереснее работы я, вероятно, в жизни уже не найду.

А тут ещё Ивантер решил похвастаться мною перед приехавшим из Ленинграда Самуилом Яковлевичем Маршаком. В то время основной отряд детских писателей находился в Ленинграде, где, кроме Маршака, жили К. И. Чуковский, Б. С. Житков, В. В. Бианки, А. И. Пантелеев. Говорили, что детская литература делается в Ленинграде. Ивантеру же хотелось показать, что и в Москве есть кое-кто и делается кое-что. Ивантер считал меня уже кое-кем, а в качестве кое-чего вниманию Маршака были предложены главы из «Кондуита». От Маршака я услышал очень важные и добрые слова и о моих писаниях, и о литературе для детей вообще. Отзыв лучшего детского поэта страны окончательно утвердил меня в моих намерениях.

Так, к немалому огорчению некоторых моих родственников и приятелей, считавших, что мне была определена «более высокая участь», я стал детским писателем.

«Кондуит» был напечатан полностью в «Пионере». Там же были впоследствии помещены целиком и отдельными главами почти все мои повести. И вот уже лет двадцать я состою членом редколлегии этого старейшего журнала наших пионеров.

По совету Маяковского я продолжал работать в газете. Газета приучала, берясь за работу, сердиться или радоваться вместе со всей страной. Она заставляла скупиться на слова, писать просто, ясно, коротко и дельно. Она внушала отвращение к литературе-соске и порождала уважение ко всему реальному, подлинному, питательному... В этом, собственно, я всегда и видел «школу Маяковского».

Нет, я не пробовал становиться на цыпочки, чтобы дотянуться до него ростом. Смешно, и только, было бы пыжиться, напуская на себя басовитость, и, срывая голос до истошных «петухов», ворочать, как это делали иные, по ступенькам нарубленных под Маяковского строк гороподобные образы, которые одному ему и были но плечу...

Безмерно счастливый тем, что мне так повезло в жизни и я оказался в зоне могучего и непосредственного человеческого влияния любимейшего из поэтов, одарённый его дружбой, я видел прямо перед своими, никогда от него не отрывавшимися глазами великаний подвиг труда и поэзии. Я видел, как в будущем, через века, «подползают поезда лизать поэзии мозолистые руки».

Я проходил у Маяковского дерзостную науку предчувствий будущего, беспощадную выучку гнева и радостно-требовательную школу его любви. Я видел, с какой ошеломляющей наглядностью в работе Маяковского литературное дело становилось, как завещал Ленин, частью общепролетарского дела. Я прислушивался, как бьётся это сердце, в котором было просторно и самой Вселенной. Жадно присматривался к тому, с каким могущественным умением поворачивает, стёсывает, наращивает, обрабатывает, формует мастер слово, то наполняя его биением па—бата, то обнажая его сокровенную нежность, чтобы слово это всей силой и правдой своей служило революции.

И мечталось приучить себя, подобно ему, быть всегда, как говорили лётчики-истребители, «в готовности № 1», то есть жить, работать, оставаться всегда

нацеленным, по верхнюю черту запроваженным, полностью заряженным, чтобы при первом же сигнале тотчас взвиться в бой!

Друзья часто за глаза называли Маяковского — сокращенно и величательно — Маяк. Маяком он и был для нашего литературного поколения. И как бы мы порою мелко ни плавали, по всё же править старались на этот огнемечущий маяк, который распорол небо мировой поэзии «отсюда до Аляски», а нам, счастливым, выставил своим великодушным светом первые наши шаги в литературе.

Встреча с Маяковским стала самым главным, бесповоротно решающим событием в моей жизни.

Итак, как советовал Маяковский («Не воротите носа от газеты, Кассильчик!»), я не уходил из журналистики. Девять с лишним лет проработал в «Известиях». Начал я с небольших репортёрских зарисовок, а через год-другой выступал уже с большими корреспонденциями, очерками, фельетонами.

Я много ездил, летал, плавал, путешествуя с корреспондентским билетом «Известий» по родной земле и за её пределами. Жил в пограничном колхозе бывших кавалеристов Котовского. Летал встречать в воздухе «Цеппелин». Участвовал в большом походе советских глиссеров, в испытательных перелётах новых самолётов и дирижаблей, на одном из которых чуть не погиб, когда мы заблудились в тумане и едва не запугались над Окой в высоковольтной сети... Встречал на аэродроме Димитрова, вырванного из фашистского застенка после знаменитого Лейпцигского процесса. Спускался в первые шахты строившегося московского метро. Дни и ночи торчал на аэродроме, где готовился старт первого советского стратостата. Гостил в Калуге у Циолковского, с которым переписывался потом до последнего дня его жизни... Провожал в исторический полет Чкалова. Первым встречал на границе прославленного ледового комиссара О. Ю. Шмидта, вырвавшегося из ледового плена. Плавал по только что открытому Беломорско-Балтийскому каналу. Вместе со сборной командой СССР ездил на футбольные состязания в Турцию и на обратном пути угодил в кораблекрушение, когда наш пароход штормом выбросило на мель у румынского мыса Мидия... В составе экипажа теплохода «Комсомол», вскоре потопленного крейсером «Каиариас», плавал в Испанию во время нападения франкистов на Испанскую народную республику. В Москве искал уличные объявления о продаже вещей и ходил по указанным в них адресам, чтобы подсмотреть жизнь «с изнанки»...

В очерках, фельетонах и рассказах, в книжках для ребят я описывал планетарий и фабрику-кухню, заседания и матчи, вокзалы и станции «скорой помощи», детские сады и заводы, кооперативы и музеи, сессии академий и тиражи государственных займов, больницы и аэродромы, парады и водопроводы, корабли и детские сады — все великолепное разнообразие нашей новой, неисчерпаемо огромной, трудной и взволнованной действительности, о которой мне хотелось рассказать всем, и прежде всего маленьким...

Хотелось мне также досказать ещё кое-что моим читателям и о своём собственном детстве.

Детство моё было долгие годы расхвачено напополам гимназическим кондуитом и Швамбранией, выдуманной страной, которую мы открыли для себя с братишкой, чтобы скрываться в её утешительных просторах от тех многих обид, что наносил нам старый мир взрослых. Ей, какбудтошней стране, стране-соске, я посвятил свою вторую большую книгу, так и назвав её «Швамбрания» (1931). Я попытался в ней весело, может быть, даже с мальчишеским озорством, изобразить старые смешные интеллигентские идеалы, царившие в методах нашего воспитания, и рассказать о первых годах новой советской школы; о том, как свежий ветер Октябрьской революции вторгся в мир старой семьи и старой школы, о том, как новая действительность оказалась увлекательнее старой сказки. Революция истребила кондуиты и, предъявив замечательную свою реальность, сделала ненужной Швамбранию. Революция вторглась в биографию докторского сына, подняла её, переворошила, внесла в неё неповторимость своего времени, дала право быть обсказанной языком искусства и закрепиться в живых образах, в книгах личной судьбы, совпавшей с судьбой, ошибками и

прозрениями известной части моего поколения.

Мне не раз крепко и обидно доставалось от так называемой литературно-педагогической критики. Ругали меня: за «ложную занимательность»; за «ложную романтику»; за «засорённость языка» моих героев; за «антипедаго-гизм», то есть неуважение к старшим, и за иные смертные грехи, в которые я впадал, по мнению некоторых неулыбчивых критиков. Повинен ли я на самом деле в этих грехах или на меня возвели напраслину скукодеи, кашевары пресной назидательной размазни, поставщики сосок двора её высочества царевны Несмеяны, — судить не мне... Но я всегда старался найти хоть что-нибудь справедливое и, значит, полезное для себя даже в самой отчаянной ругани. И думаю, кое-что из этого пошло мне на пользу.

Но как порой трудно ни приходилось, никогда я не жалел, что выбрал для себя путь, ведущий к ребятам. Мне всегда интересно быть с ними. Я и сейчас пользуюсь каждой возможностью, позволяющей встретиться с моими читателями с глазу на глаз и нос к носу. Для этого мне пришлось научиться выступать перед ребятами. Это далось мне не сразу: я робел и перед взрослой аудиторией, куда более смирной, чем детская, да и дикция была у меня от природы нечёткая. Ещё на школьных вечерах, когда мне поручали объявить перерыв, я потел от ужаса, язык у меня завязывался узлом, и у меня получалось не то «трактат», не то «контракт», но никак не «антракт»... Тут я тоже многим обязан Маяковскому, который сам был непревзойдённым чтецом, как он называл себя — «разговорщиком» на трибуне, и нас призывал к умению лично договариваться с читателями.

Было время на первых порах моей работы, когда я считал самым важным для себя во что бы то ни стало рассмешить моего читателя. Я не отказываюсь от любой такой возможности и сегодня. Ибо вряд ли есть на свете что-нибудь более радостное, чем дружный, весёлый ребячий смех. Но уже давно мне стали не менее дороги, чем хохот и аплодисменты, сотни замерших, уставившихся прямо на меня глаз, доверчивая тишина в переполненном ребятами зале, когда слышишь, кажется, как стучат что есть силы сердчишки, до которых удалось добраться...

...Тут и хочу я сказать о нём, милом моем читателе.

Он всякий. И шумный, непоседливый, такой, что не сразу угомонишь. И весь ушедший в самозабвенное внимание, беззвучно, сам того не замечая, повторяющий за мной то, что слышит. Он смотрит на меня поверх школьной парты, которая ему немножко велика. Он взвивается от нетерпения с кресла в театральном зале. Он забился где-то в отдалённом уголке пионерской комнаты и неуверенно поднял руку: ему очень хочется о чём-то спросить, он не в силах справиться со своим любопытством, но не побороть и неизбывной застенчивости, и лучше бы уж поднятую руку его не заметили... Он встречает меня на большой московской улице, узнает, показывает на меня глазами своему приятелю, попутно пихая его локтем в бок так, что тот охает. И оба они кричат своё радостное: «Здравствуйте!» — заставляя всех прохожих оглянуться на нас. А потом вдруг через квартал я снова встречаю их обоих, и опять: «Здравствуйте!» — потому что они успели обежать улицу по другой её стороне, чтобы снова ещё раз встретиться...

Он встаёт, поправляя красный галстук, который кажется пылающим в отблесках лагерного костра, и просит рассказать что-нибудь «из военной жизни». Он рано утром, чуть свет будя всех моих домашних, звонит у входной двери, салютует по-пионерски и сообщает, что прибыл по неотложному поручению всего шестого «Б», так как у них будет сегодня сбор на тему: «В чём смысл жизни?».

Как сказано у Михалкова, «он девочка, он мальчик», — словом, он мой читатель, ненасытный, неожиданный, беспокойный, благодарный, доверчивый, дорогой мой дружок.

Незадолго до войны на Красной Пресне, в зале театра имени Ленина, возле Трёхгорной мануфактуры, шёл большой литературный утренник для ребят. Выступал, можно сказать, весь генералитет нашей детской литературы. И Самуил Яковлевич Маршак, и Корней Иванович Чуковский, и Аркадий Петрович Гайдар, и Агния Львовна Барто, и Сергей Владимирович Михалков, которого, правда, тогда все ещё звали просто Серёжей. В этой

«могучей» кучке подвизался в тот день и я. Мы выступали очень долго, приободрённые раздававшимися то и дело дружными аплодисментами. А потом я решил поговорить с ребятами.

— Ну, дорогие дружочки, — сказал я, выйдя на авансцену, — вот ваши любимые писатели и поэты прочли вам свои стихи, рассказы. Может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы к нам? Давайте выкладывайте, не стесняйтесь!

После некоторой паузы и безмолвного шевеления примерно над пятым рядом поднялась рука, за рукой вытянулась девица, на глаз эдак из четвёртого или пятого класса. Несмотря на то что в зале, где сидело примерно тысяча ребят, было очень жарко, девочка оставалась в толстой пуховой шали, как её, должно быть, укутали дома: вокруг головы, концами крест-накрест на спине и с узелком на поясе спереди.

— Внимание! — скомандовал я залу. — Вот девочка в пятом ряду хочет о чём-то спросить у писателей. Ну, прошу!

И в полной тишине раздался чистый, очень звонкий голосок:

— Кино скоро будет?

С того дня я перестал чересчур доверяться ребячьим аплодисментам. Здоровому мальчишке куда легче хлопнуть ладонью о ладонь, чем тихо высидеть четверть часа. Но у меня есть давно уже другой измеритель степени внимания зала. Вот когда все в зале замирает и на тебе, словно радужные зайчики, сходятся отблески сотен внимательных глаз, — вот в эти минуты, всегда желанные, где-то в зале раздаётся лёгкий звенящий щелчок — дзинь!.. Сначала один, а потом в другом месте ещё... И ещё... дзинь.., дзинь...

Это начинают падать на пол металлические или плексигласовые номерки из гардероба.

Дело в том, что одним из самых величайших несчастий, которые могут мниться моим слушателям, представляется потеря номерка от сданного пальтишка или шапки. Как в таком разе вернуться домой?! И большинство предпочитает держать номерок в руке — так вернее. И вот сначала у слушателей открываются широко глаза, потом рты и, наконец, ладони. И когда в зале падают гардеробные номерки, я спокоен: всё в порядке, слушают внимательно.

...Не стоит обижаться на читателя, если он не твёрдо заучил фамилию автора. В фамилии какой толк?.. Важнее, чтобы он запомнил книгу.

Как-то я, ожидая начала киносеанса, сидел на скамейке у одного из перекрёстков больших аллей столичного Парка культуры и отдыха имени Горького. Сидел, читал газету. Солнце светило из-за спины. И вдруг оттуда напоззли две тени. Одна длинная, другая покороче. Не оглядываясь, я пригласил:

— Ну что вы там хоронитесь на задворках? Заходите с парадного крыльца.

Передо мной появились две школьницы. Коротенькая сказала:

— Здравствуйте. Мы вас знаем.

— Очень хорошо. А откуда вы меня знаете?

Тут вдруг обе сметались — по-видимому, забыли, как меня величают.

— Вы... этот... — пробормотала высокая. — Вы... Конduit.

Коротенькая сердито дёрнула её за юбку и поспешно поправила:

— Лев Конduit!

А сколько раз уже приходилось мне при встречах где-нибудь в школе слышать:

— Здравствуйте, Лев Швамбраныч!..

Но однажды получилось и так. Мы с Сергеем Михалковым приехали в 22-й детский дом Москвы за Таганской площадью, чтобы принять шефство над ребятами. Мы немножко опоздали, и детей уже уложили на ночь. Однако директор детдома, симпатичная и радушная женщина, предложила нам пройти в одну из спален, где ребята постарше ещё не заснули.

— Ну вот, мальчики, — с некоторой торжественностью объявила директор, вводя нас в комнату и зажигая свет. — Видите, писатели не обманули вас. Они приехали. Вы их, конечно, все хорошо знаете. Вот это кто? — Она показала на Михалкова. — Это Сергей... Ну?..

— Михалков, — ответили из разных углов.

— Правильно, — сказала директор. — А это? — Она указала на меня. — Это... Лев...
— Толстой! — послышалось из-под нескольких приподнявшихся одеял.
...Заканчиваю одну из читательских конференций в районной детской библиотеке.
— Ну, про что же ещё вам написать, ребята? Поднимается, вытянув руку вверх, мрачноватый паренек:

— Напишите про Робинзона Крузо.

— погоди, дорогой мой... Ведь это когда ещё книга написана! Зачем же ещё раз писать?

— Ничего. Вы напишите сами ещё раз. А то у нас в библиотеке только один экземпляр, и нам на дом не дают.

А после читательской конференции по трём моим книгам, когда я уже выходил из школы, какой-то мальчонка, всё время скромно следовавший за мной в некотором отдалении, вдруг, видно, решился, забежал вперёд, обернулся и, обмирая от уважения, спросил:

— А это, значит, про чего мы обсуждали, вы все сами написали? Здорово! — Помолчал мечтательно, зажмурился, мотнул головой и добавил убеждённо: — Сейчас, как домой приедете, ещё про чего-нибудь напишете?.. Да?

И было видно, что он ясно представляет себе: вот вернусь домой, сниму пальто и шляпу, сяду за стол, выну чистую бумагу, обмакну перо — и пошло!

Вот бы правда так!

После большого авторского утренника в Доме пионеров:

— Лев Абрамович! А вам самому нравится, как вы пишете?

Чистосердечно признаюсь, что не всегда нравится. Объясняю, что в стране, где так уважают книгу, где миллионы людей стали отличными читателями, хочется писать гораздо лучше!..

Тогда меня вдруг начинают деликатно утешать:

— Ну, уж не так совсем, Лев Абрамович... Другие есть, ещё хуже пишут...

Но как-то в одной из школ я пережил действительно неприятные минуты. Предложил ребятам задавать мне вопросы, говорить откровенно, начистоту... И вдруг один мальчонка встаёт и обращается ко мне:

— Лев Кассиль! А почему вы так плохо пишете?

Тут я, признаться, растерялся...

— Что же тебе, собственно, так не понравилось в моих писаниях?

— А к нам одна лекторша приезжала, про вас делала доклад. И привезла ваши листочки — рукопись, что ли? Показывала, как вы пишете. Все перечёркано. Не разберешь ничего...

Подходит к концу мой утренник в одной из крымских школ. Обо всём уже поговорили, собираюсь распрощаться.

— Ну, больше никаких вопросов ко мне у вас нет?

Голос из зала:

— Какого года вы рождения?

— Тысяча девятьсот пятого, — признаюсь я.

И вдруг откуда-то из-под сцены, где я стою, выскакивает парнишка. Глаза у него полны бешеного любопытства. Кидается к самой рампе, в голосе восторженное предвкушение:

— И вы помните Кровавое воскресенье?

(Видно, только что проходил это в классе, на уроке истории.)

Пришлось разочаровать его и отшутиться:

— Нет, дорогой мой, я родился уже в понедельник...

А как-то в одном из московских интернатов на литературном утреннике состоялся такой разговор после обсуждения книги «Улица младшего сына»:

— Вы встречались сами с Володи Дубининым?

Объясняю, что я узнал о героической жизни и подвигах Володи Дубинина уже после войны. Тотчас же в зале взлетает ладошка:

— А Павлика Морозова вы видели?

Рассказываю, что Павлик погиб ещё тогда, когда я не занимался литературной работой. И тут же замечаю, что в углу зала всё тянется вверх чья-то нетерпеливая рука. Делаю знак. Поднимается тугощекий мальчуган. Смотрит на меня с безграничным доверием:

— Лев Кассиль... А вы были лично знакомы с Гаврошем?

Но, пожалуй, самый большой эффект произвёл я, выступая в одном из кино близ завода имени Лихачёва. Дело было на каникулах. Меня попросили выступить перед началом сеанса. Я очень не люблю такие выступления: ребята пришли смотреть фильм и относятся к тебе, как к помехе, возникшей перед экраном. Но кому-то понадобилось поставить в ведомости о проведении детских каникул галочку в графе: «Выступление писателя». И я со скрипом душевным согласился.

А накануне у меня стали ручные часы. И я отдал их поправить в мастерскую. Пока же пришлось надеть на руку запасные. По дороге на выступление я заехал в мастерскую и получил уже починенные часы, которые надел на свободную руку.

Выступление проходило, как я и ждал, ужасно. Что я говорил, не слышно было даже мне самому. В переполненном зале занимались выяснением взаимоотношений между разными рядами, причём дело не ограничивалось одними лишь пререканиями... Я с тоской поглядел на часы, бывшие у меня на левой руке: сколько ещё для приличия надо постоять на эстраде?.. Мне казалось, что я торчу перед экраном не менее четверти часа. Но выходило по часам, что я начал лишь пять минут назад. Чтобы проверить это, я взглянул на исправленные часы, которые были у меня на правой руке. И сличил время. Я непроизвольно свёл перед собой руки, и жест этот произвёл чудо. Зал мгновенно замер. Наступила такая тишина, будто все разом покинули помещение кино. Я даже с опаской поглядел в зал. Но все были на своих местах. Тогда я негромким голосом прочёл новогодний рассказ. И ушёл со сцены на цыпочках, провожаемый, однако, такими овациями, что у меня постепенно отвердел шаг.

Вечером мне позвонил мой знакомый инженер завода имени Лихачёва:

— Здравствуй! Ты, оказывается, у наших ребят сегодня выступал? Ну, брат, потряс ты... Сынишка пришёл, всем рассказывал: «Вот к нам сегодня писатель приезжал... До того занятый, что двое часов на нём! Так всё время и проверяет!»

Мне часто приходится бывать у больных ребят, надолго прикованных к постели. Однажды пришлось принимать военно-морской парад, который в санатории у Серебряного бора, на окраине столицы, придумали сами малыши, прочитав мою книжку «Далеко в море». Да, это был парад, парад с торжественным маршем, и с подъёмом флага, и с музыкой. Но двигался только принимавший парад, то есть я. А все участники, с приколотыми на груди к рубашонкам сине-белыми треугольниками, вырезанными из бумаги наподобие матросских воротников, оставались распротёртыми на кроватях. Они козыряли, играли на гребенках, изображая корабельных оркестрантов, поднимали над койками цветные флаги по протянутым через палату верёвкам, рапортовали мне. А я шагал между кроватями, отдавал честь и принимал этот удивительный парад, думая, что нет, не зря, не напрасно пишутся книжки.

А однажды я получил письмо из подмосковного туберкулезного детского санатория «Красная Роза», возле Балашихи, где я бывал несколько раз до этого. На долгие годы обречённые лежать, пионеры одной из палат санатория просили у меня разрешения присвоить звену их в пионерской дружине моё имя... Мог ли я отказаться от этой высокой, вряд ли заслуженной и в чём-то печальной чести?

И часто потом, если у меня, как и у всякого, случались неудачи и приходили трудные дни — такие, когда все хочется бросить к чёрту, вспоминал я вдруг, что больные ребята, которым куда тяжелее, чем мне, одарили меня таким доверием... И стыд за свою слабость пожирал меня. Снова яростно брался я за работу, чтобы хоть как-нибудь оправдать эту веру читателя.

Великое это дело — доверие читателя!

Перед самой войной передавали впервые по радио мой рассказ «Есть на Волге утёс».

Трагическую историю жизни безвестного волжского грузчика — певца Леонтия Архипкиина, по прозвищу «Громобой», потерявшего когда-то свой могучий бас из-за того, что пьяные купцы спалили ему кислотой горло. И вот в рассказе говорилось о том, что пионеры, найдя уникальную грампластинку, однажды записанную с голоса Громобоя, вернули забытую славу человеку. Пел за моего героя в радиопередаче народный артист СССР Максим Дормидонтович Михайлов.

Через неделю после передачи меня вызвали в радиокomitee и вручили мне денежный перевод из города Грозного. На обороте перевода в графе «Для письменного сообщения» я прочёл:

«Дорогие радиодикторы. Мы слушали Льва Кассиля „Есть на Волге утёс“. И провели в Доме пионеров сбор в пользу Леонтия Архипкина, по прозвищу „Громобой“, т. к. голос у него пропал и жить ему наверное не на что. Поэтому посылаем собранные 13 р. 65 к.».

Вот он каков, дорогой наш читатель. Мало того, что убеждённо поверил в подлинное существование героя, но ещё преисполнился сострадания к нему и счёл своим прямым гражданским долгом помочь старому, обездоленному человеку в нужде! Не было для меня в жизни выше награды, чем этот перевод из города Грозного на 13 рублей 65 копеек (я ответил на него посылкой с книгами), и нет на свете лучше читателя, чем тот, которого я вижу перед собой, когда берусь за работу.

— Дядя, — спросил меня в библиотеке как-то один из школьников, держа наготове тетрадку, чтобы записать мой адрес, — дядя, вы где живёте? В Кремле?

По какому же высокому адресу прописана в его представлении наша книга, наша литература! Вот и думаю я всю жизнь, как оправдать такую прописку! И пишу для этого читателя, достойного самой лучшей литературы, такой, о которой я сам лишь мечтать могу... Пишу, как в силах, как умею, дорогим моим мальчишкам и девчонкам книги об их же открытых, весёлых и жарких сердцах, полных дерзания, упрямой мечты и необоримой жажды подвига, чтобы победили в мире справедливость и красота. И нет для меня на свете дела важнее и прекраснее!

Мне думается, что автобиография писателя может быть им вполне законно оборвана на тех книгах или моментах его жизни, которые он сам считает в какой-то мере определяющими его литературную судьбу. Остановлюсь, пожалуй, тут и я.

Конечно, можно было бы ещё рассказать, например, о спортивном романе «Вратарь Республики» (1937), о «Черемыше, брате героя» (1938), о «Дорогих моих мальчишках» (1944), о книге «Маяковский — сам» (1940), о большой повести «Великое противостояние» (первая часть которой вышла в свет за несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны и была продиктована тревожным ощущением надвигающейся грозы, а вторая — «Свет Москвы» — появилась в печати к 800-летию юбилею столицы в 1947 году и получила первую премию на конкурсе Министерства просвещения РСФСР).

Следовало бы, конечно, остановиться на документальной повести «Улица младшего сына» (написанной в 1949 году в содружестве с журналистом М. Поляновским). Она была удостоена Государственной премии.

Надо было бы, вероятно, упомянуть и о повести «Ранний восход» (1953), в которой я стремился продолжить рассказ о слиянии двух наиболее для меня дорогих и важных черт в душевном облике молодого поколения — начал творческого и героического. Таким же родным, как и Володя Дубинин, стал для меня непридуманный, живший на самом деле и тоже безвременно погибший маленький, по феноменально одарённый художник Коля Дмитриев.

Можно было бы рассказать ещё о многих поездках и путешествиях, о ряде замечательных встреч, о незабываемых часах, проведённых у Алексея Максимовича Горького, о свидании с Роменом Ролланом, сказавшим мне очень дорогие и важные слова про «Швамбранию» и некоторые мои рассказы.

Надо было бы, возможно, рассказать кое-что и о корреспондентской работе во время войны на сухопутных фронтах и в Заполярном флоте. И о многолетней работе у

радиомикрофона, за которую я удостоен звания и знака «Почётный радист СССР»: о передачах с Красной площади и «Под часами с кукушкой» за «Круглым столом», радиопредседателем которого я был довольно долго... И о наших новогодних ёлках в Колонном зале Дома союзов и в Большом Кремлёвском дворце, где я в течение нескольких лет выполнял функции литературного деда-мороза. И о моих студентах в Литературном институте, где я стараюсь избавить начинающих от тех ошибок, без которых не обошлась моя собственная молодость.

И хорошо было бы, наверное, вспомнить о послевоенном плавании на кораблях нашего флота вокруг Европы лотом 1946 года — об этом и была написана для ребят книжка «Далеко в море», а в 1947 году, вместе с моим спутником Сергеем Михалковым, книга для взрослых — «Европа слева». И о другом плавании, когда Европа была справа... И об увлекательной поездке в Италию на Белую Олимпиаду в Доломитовых Альпах, на VII Зимние Олимпийские игры в Кортина д'Ампеццо, после чего я смог завершить, наконец, долго писавшийся спортивно-приключенческий роман «Ход Белой Королевы» (1956)... И о зимних Олимпийских играх в Скво-Вэлли, в горах Сьерра-Невады, и о Белой Олимпиаде на тирольских кручах в Инсбруке, и об олимпиадах в Риме и Токио, где я работал специальным корреспондентом. Не мешало бы сообщить о поездке «с Маяковским» по Италии в 1958 году, когда довелось поколесить от Сицилии до Генуи, рассказывая о поэте в Палермо, Неаполе, Риме, Равенне, Милане, Альфонсине и т. д.

Стоило бы, пожалуй, сказать о книжке «Дело вкуса» (1958), которой я на основании 20-летнего опыта публичных бесед с молодёжью на эти темы рискнул вторгнуться в сферу эстетического воспитания, борьбы с пошлостью, мещанством, безвкусицей... И хорошо было бы назвать нелегко давшуюся мне книжку «Про жизнь совсем хорошую» (1959), где я попытался заглянуть в коммунистическое будущее и пометать о завтрашнем нашем дне вместе с моими читателями, которые своими письмами и надоумили меня написать об этом.

Под конец, по всей вероятности, законно было бы назвать роман «Чаша гладиатора» (1961), роман с приключениями, переживаниями и путешествиями, и маленькую повесть «Будьте готовы, Ваше высочество!», в которой я «открыл» для себя и читателей третью, после Швамбрании и Синегории, страну — Джунгахору.

Но я позволю себе лишь хитро упомянуть обо всём этом: боюсь, что, говоря подробнее, можно утратить спасительное чувство юмора, без которого трезво смотрящий на вещи человек не рискнёт говорить о себе. И потому предпочитаю, чтобы вразумительнее и подробнее про все вышеупомянутое писал бы кто-нибудь другой...³

³ О творчестве Льва Кассиля написано много статей. Написаны и книги: В. Николаев. «Лев Кассиль». М., 1955; И. А. Свирская. «Творчество Л. А. Кассиля». М., 1955.

Творчеству Л. Кассиля посвящены отдельные главы в книгах В. Смирновой «О детях и для детей». М., 1961; Э. Цюрупы «Умеешь ли ты читать». М., 1963; А. Ивича «Воспитание поколений». М., 1964.